

Продолжаем публиковать статьи о выдающемся еврейском писателе С. Юшкевиче, присланные из Парижа Виталием Амурским.

Над свежей могилой Семена Юшкевича говорили два представителя двух несхожих культур, двух несхожих мирозерцаний, сыны двух различных национально-исторических формаций. Говорили на разных языках, и каждый на своем признал Юшкевича своим. Это были Шолом Аш и П. Милуков. Вопреки, казалось бы, очевидности Шолом Аш утверждал, что Юшкевич писал по... еврейски. Шолом Аш сам разъяснил этот парадокс: Юшкевич вложил в свое творчество еврейскую душу, еврейское сердце, еврейские нервы и еврейский ум. Вот почему Юшкевич писал по-еврейски. Он наш, он сын нашего народа, верный и честный, преданный и любящий сын.

А Павел Милуков говорил о том, что Семен Соломонович Юшкевич — русский писатель. Оратор включил Юшкевича в сонм русской литературы и в чертогах ее отвел Юшкевичу почетное место. Даже самое содержание творчества С. Юшкевича П. Милуков рассматривал как ценное служение не только русской литературе, но и русскому народу. Он отметил в Юшкевиче писателя, который дал "нам" понять и почувствовать жизнь еврейского народа, служил как бы художественным посредником "между нами и еврейским народом". И за все это праху Семена Юшкевича поклонился.

Надгробные речи вообще не могут служить материалом для объективных суждений и оценок. Живые боятся мертвых более, чем живых, зачастую преступно пренебрегая расположением живых, точно ищут этого расположения у смерти сопричастившихся. Но в данном случае два надгробных оратора вплотную подошли не только к объективной характеристике личности и творчества Семена Юшкевича, но и к той сложной, мучительной, исторически исковерканной проблеме, вне которой невозможно как следует понять ни эту личность, ни это творчество. Проблема эта в основных чертах вновь встала тогда, когда к месту вечного упокоения пришел знаменитый еврейский писатель-художник и сказал: "Семен Юшкевич — наш"; и когда туда же пришел знаменитый русский писатель-историк, государственный деятель и сказал то же самое: "Семен Юшкевич — наш".

Если бы один из них был прав, а другой — не прав, никакой проблемы здесь не было бы. Но она имеется, она вновь стоит перед нами при оценке творческого пути Семена Юшкевича, потому что они оба правы, потому что и представитель еврейского рассеяния, польско-русско-немецко-американский еврей Шолом Аш, и представитель коренной столбовой русской интеллигенции Павел Милуков одинаково, не за страх перед мертвым, а по своей национальности — культурной совести — могли считать Семена Юшкевича своим.

Русский еврей... Еврей, русский... Сколько вокруг этого соединения-разделения пролилось крови, слез, сколько нагромоздилось несказанных страданий, которым еще не видать конца, и сколько здесь все же было радости духовного и культурного роста маленького, но великого народа. Но разве это была только его радость? Нет, и большой великий народ — русский — питался живительными соками русского еврейства. Для исторической науки, социологии и этнологии будет стоять если не загадка, то соблазнительная для исследования задача: как это возможно было, чтобы из культурно застойной и религиозно бесконечно отчужденной, отчуждаемой и отчуждающей черты оседлости выходили люди, занявшие передовые позиции русской культуры? Как отсюда вышел скульптор Антокольский, гениально выразивший в мраморе исконные образы исконного русского прошлого, почему природа и история рассудили так, что из атмосферы удушливого гетто придет специфический продукт еврейской юдолии и выразит христианнейшие, православнейшие, истинно русские типы Грозного, Нестора, Ермака и многих других?

Или почему еврей Левиту суждено было гениально разгадать и гениально выразить тихие, нежные, грустно заманчивые тайны русского пейзажа? Почему еврей Гершензон стал одним из первых среди людей, исторически, философски и художественно осмысливавших самые ароматные и волнующие страницы истории русских духовных, общественных и литературных борений первых двух третей XIX столетия? Как это случилось, что он, еврей по складу своего мышления,

дал русской литературе, русской истории и русскому сознанию вообще такие изумительной яркости и отделки портреты таких изумительных русских и изумительно русских людей, как Герцен, Огарев, Печерин, Киреевский, Станкевич, братья Кривцовы и многие другие? Откуда в нем эта "изысканность русской медлительной речи" в тонком изображении неповторимо оригинальных общественно-духовных и психологически-бытовых ситуаций в прошлом русского общества?

Как это случилось, что влюбленным в русскую литературу, русских литераторов, русскую книгу историком-библиографом и биографом, добрым папашей русской книги и целого поколения пушкинистов стал еврей С. Венгеров? Можно привести еще множество других примеров, когда русские евреи лидируют в тех областях русской культуры, где национальное начало сказывается всего сильнее, ибо речь идет о явлениях духа, а не материи. Между тем, если охватить всю область культуры, включая и ее национально-нейтральные стороны в виде точных и практических наук, то роль русских евреев в общем культурном развитии России, начиная с XIX века, вырисовывается в еще более исторически значительных чертах.

Не забудем, однако, что эту важную роль русское еврейство сыграло при том условии, что стараниями самодержавного режима и высших слоев правя-

Между проклятиями старой среды и недоверчивым любопытством новой, в опустошенной промежуточной зоне стояли тысячи молодых евреев, уже в раннем возрасте надломленные культурно-бытовой чреполюсией. Отсюда вышли первые беглецы в заокеанские страны, самоубийцы и выкреды, люди, не порвавшие только с вероисповедными документами, но порвавшие совершенно со своим народом, ассимилировавшиеся. Тут были не только карьеристы и гешефтмахеры, но и подвижники революционной борьбы, деятели науки и искусства, люди во всех отношениях приемлемые и симпатичные, но мало и неохотно вспоминавшие свое национальное происхождение. Они при случае не отказывались, если крайне нужно было, заявлять себя евреями, но никакого желания "навязываться" у них не было.

Но было и осталось очень много евреев, которые подняли на свои плечи этот тяжкий крест: быть русским евреем, быть евреем и русским. Две любви, две страсти, два борения... Не слишком ли много для одного сердца? Да, слишком много. Но в том и состоит фатальный трагизм этого двуединства. Здесь равновесие — не данность, а заданность. Здесь

Nur der verdient sich
Freiheit wie das Leben
Der taglich sie erobern muss.

СЕМЕН ЮШКЕВИЧ И ЕВРЕИ

щих классов еврейство сознательно и систематически выталкивалось из русской культуры. Черта оседлости и процентная норма приема в учебные заведения опускались тяжелой дубиной на головы тех еврейских юношей и девушек, которые рвались из черты, из удушливой атмосферы застойной религиозно-национальной традиции на волю вольную света и знания. Каждый атом их, достававшийся еврейской молодежи, покупался ценой неслыханных страданий. Преодолев в мучительном борении отцов и детей сопротивление национально-ограниченной среды, эта молодежь на пути своем к русской культуре наталкивалась на колючую изгородь самодержавного, антисемитски заряженного режима. Для множества из них борьба за культуру принудительно превращалась в борьбу за революцию. Борьба за цель трагически, фатально превращалась в борьбу за средство. Еврейство влилось в революционный поток, стало одним из значительных стимулов революционного развития и отдало множество жертв как светлым, так и темным духам революции.

Проблема русского еврейства превратилась в запутанный клубок острых противоречий. Трудно было в атмосфере отжившего строя быть русским. Бесконечно мучительным было в условиях националистическо-дворянского режима оставаться евреем. Но Голгофой из Голгофы было существование евреев, которые, формально не порывая с верой отцов, душевно и сердечно оставаясь со своим народом, жадными устами приложились к чаше русской культуры. Нигде борьба детей и отцов не принимала столь предельно драматического напряжения, как здесь. Изображенная Тургеневым драма — идилическая картина по сравнению с тем, что творилось в еврейской среде. Отцы чувствовали, что дети уходят в инациональный мир, господствующие элементы которого душат и отцов, и детей на каждом шагу. Дети чувствовали: отправляясь в чертоги русской культуры, они встретятся с недоверием, подозрительностью, когда хорошо, когда совсем худо скрывааемым пренебрежением сильного к слабому. Слащавое юдофильство так же било по чувству человеческого достоинства, как и терпкое юдофобство.

Да, ежедневно, ежечасно нужно завоевывать это единство. Дух должен постоянно бодрствовать, отвечая на множество разное и противоположно направленных раздражений извне. Здесь нет еще прочного наследственного капитала, процентами с которого можно жить рантьею духовной надежности. Нет, это тяжкий труд повседневного двуединого самоутверждения, вечная подпольная судорожная пляска атомов и молекул души, которая лишь во вне являет себя в виде правильного движения.

Когда Шолом Аш говорил: "Он наш"; и когда П. Милуков говорил: "Он наш", — говорили они о разных сторонах, реально неразделимых, одной и той же сложной и мучительной проблемы русского еврея.

Здесь и находится первый, самый главный подступ к пониманию личности и творчества Юшкевича. Было много русских писателей, писавших о евреях. Было еще больше евреев, писавших по-русски о евреях. Не в темах тут дело. А вот в чем.

Семен Юшкевич пришел в русскую литературу и сказал внятно: я еврей. Хотите меня таким — хорошо. Не хотите — поборемся. Я буду писать не только о евреях, но и о русских, вообще о людях, страдающих, любящих, о героях и ничтожествах, злодеях и праведниках. Я хочу быть русским писателем, писателем русской литературы, русской литературной славы, русских литературных огорчений, миллиона русских литературных терзаний. Но не ошибайтесь насчет меня — я еврей. Вот я не имею права жительства в Петербурге, с большим трудом приезжаю сюда для постановки своего пьеса, переговоров с журналистами и издательствами. Но я — русский литератор, хочу им быть и буду все-таки евреем. Вот я стремлюсь попасть на сцену Александринки, казенного театра, опекаемого и сторожимого матерыми представителями дворянско-бюрократической реакции, вот я зажигаю Савину желанием сыграть роль бедной еврейки в моем "Короле", и Савина, великая русская актриса, вызывавшая преклонение Тургенева, вступает в борьбу с сонмом

царских бюрократов, чтобы моя пьеса пошла в Михайловском, а другая — в Мариинском театрах, на подмостках которых появляются типы моих любимых, как люди, любимых, как творческие образы, евреев — травимых, гонимых, презираемых евреев. Но не впадайте в заблуждение: вывел на сцену, их образами воодушевил замечательных русских актеров, ядерных русских работников русской сцены, еврей — Семен Юшкевич.

Вот это было ново, вот это было смело, вот это было его, Семена Юшкевича, оригинальное и единственное в русской литературе. Он пришел в нее и шел в ней не так, как шли другие русские писатели еврейского происхождения. Для последних, когда они писали из еврейской жизни, еврей был материалом среди другого материала. В этом отношении такие писатели ничем не отличались от писателей русского происхождения, писавших на еврейские темы. Разница могла быть в большем или меньшем знании бытовых подробностей, но подход к теме, по существу, был одним и тем же. Но Семен Юшкевич давал в русскую литературу еврея не как подробность своего творческого пути, а как самое главное и определяющее этот путь направление. Он тут, осознанно или бессознательно, выполнял некую литературно-национальную миссию, в этом черпал бодрость творческого духа и сознание особой, отличной от всего другого, нужности своей русской литературе. Тут еврей появлялся не как бытовая экзотика, не как занимательная подробность прекрасной повести русской литературы, а как один из равноправных элементов тематического, портретного и психологического материала, из которого строится эта литература. В этой литературе были дворянин, мужик, мещанин, купец, фабрикант, рабочий, чиновник, интеллигент, а еврей присутствовал в ней для орнамента, для вводного предложения, для литературного гурманства иногда. Семен Юшкевич пришел в русскую литературу для того, чтобы водворить в ней еврея на постоянное жительство, на равных правах со всем остальным тематическим материалом "настоящих" русских писателей.

Это был нелегкий труд. Это было подвигом. Потому что право жительства в литературе еврей имел только в той мере, в какой являл собою или рыжего урода, питающего чувства национального отталкивания, или сладенькую субботную благочестивость до тошноты честного и благородного, до нестерпимой фальши богобоязненного, или, наконец, какого-нибудь до невероятия чудацкого челоуэчка, жалкого, голодного, но отменно остроумного, готового сию минуту умереть, чтобы растрогать сердце дамы, которой надо же когда-нибудь поплакать "настоящими" слезами. Только с таким или подобным паспортом еврея пускали на страницы художественной литературы. В ней были иногда очень яркие, порою слишком яркие "оригиналы", но не было в ней еврея-человека.

Громадная историко-литературная заслуга Семена Юшкевича заключается в том, что он привел в русскую литературу еврея-человека. Не "тип", не художественно-изобразительная теза, не "что-нибудь особенное", а просто еврей-человек волновал Семена Юшкевича в его художественных исканиях. В этом заключался общественный и национальный умысел, вернее — общественно-национальная интуиция Юшкевича, чтобы раз навсегда избавить еврея от необходимости иметь для права жительства в русской литературе какие-либо особые, чрезвычайные качества. Как в области борьбы за гражданское и политическое равноправие евреев, речь шла о том, чтобы еврей сопричастился объему действующего права не за особые заслуги и качества, а просто в силу своего звания человека, так и в области борьбы за свое литературное самоутверждение речь шла о том, чтобы еврей сопричастился объему художественного материала русской литературы не за особые заслуги и качества, не за соблазнительную оригинальность, а просто в силу своего звания человека.

На пути к разрешению этой задачи сантиментальный филосемитизм стоял еще более серьезным препятствием, чем терпкий антисемитизм. Такой же духовный продукт бесправия, как и антисемитизм, филосемитизм был тем опаснее для свободного художественного творчества на еврейские темы, что он имел в глазах еврейской интеллигенции как бы твердое право требовать поставки ему

(Продолжение на 14-й стр.)

(Продолжение. Начало на 13-й стр.)

такого еврея, который бы не портил дружественных чертей человекалюбия, терпимости и т. д.

С друзьями всегда приходится считаться больше, чем с врагами. В этом и заключался в течение долгого периода основной порок еврейских публицистики и беллетристики на русском языке, что они были зажатые в тиски антагонистической пары — филосемитизма-антисемитизма. Если публицистика как область, в которой цели доминируют над средствами, еще кое-как, с грехом пополам, справлялась с этими затруднениями, то художественное творчество как область, в которой средства играют несоизмеримо более важную роль, страдало в этих тисках в самой основе. Необходимость, отвлекаясь от того, что подсказывают музы, оглядываться на то, что скажут, подумают и почувствуют "друзья" и что скажут, подумают и почувствуют "враги" еврейского народа, коверкало художественный замысел и художественное исполнение всех беллетристов, бравших темы из еврейской жизни, и в особенности — беллетристов-евреев. Косвенно и в конечном счете эти благонамеренные изображения благонамеренных евреев только содействовали тому же антисемитизму. Ибо изображения эти невольно рождали в читателе представление о том, что тут речь идет об исключительно оригинальных типах, о людях-евреях совершенно "особенных", каких в жизни бывает всегда очень мало. Вместо того чтобы светом этих симпатичных, трогательных евреев осветить все еврейство, эти светлые типы только сгущали тьму над тем еврейством, из которого были извлечены и литературно отпрепарированы.

Семен Юшкевич решительно порвал с этой губительной — общественно, национально и литературно губительной — традицией. Он сбросил с себя гнет "врагов" и гнет "друзей". Он никого не просил любить евреев черненькими или любить их беленькими. Он сделал нечто гораздо более значительное как для евреев, так и для русских — сказал всем читателям русской литературы: можете их совсем не любить, довольно и того, что вы их будете знать.

Я думаю, что здесь кроется тайна громадного успеха Семена Юшкевича как среди русских, так и среди еврейских читателей русской литературы. Этот краткий манифест о необязательной любви и достаточности одного знания, манифест, нигде С. Юшкевичем не кодифицированный, но составляющий мощную морально-национальную основу его творчества, не мог не быть воспринятым широкой массой еврейских и русских читателей как отрадная хартия свободы не только писателя, но и читателя. Отрадно чувствовать свободу в себе, но не менее отрадно чувствовать свободу в других. Каждым своим новым произведением из еврейской жизни Семен Юшкевич как бы вновь утверждал радостно эту свободу в себе и в других. И друзья, и враги могли читать произведения Юшкевича без оглядки на национальные притяжения и отталкивания, без того, чтобы в процессе положительного или отрицательного восприятия читаемого вносить органически чуждые этому процессу элементы. В этом смысле творчество Семена Юшкевича можно назвать в высшей мере объективным. Он был объективным, потому что был свободным.

Значит ли это, что Семен Юшкевич в изображении добра и зла еврейской жизни был "постыдно равнодушен"? Всякий, кто знаком хоть с маленькой долей того, что писал Семен Юшкевич из еврейской жизни, знает, что меньше всего Семену Юшкевичу давалось равнодушие. Оно ему не давалось даже в крайних необходимых случаях.

В мою задачу не входят оценки формально-литературных качеств творчества покойного писателя, но я не могу не отметить одной стороны в этом творчестве, важной для понимания всего жизненного пути Юшкевича. Я бы сказал, что Семен Юшкевич во всем своем творчестве находился во власти вопиющего мироощущения. "Пусть уже будет тихо", — говорит один из его героев. Но это только молитва, только несбыточное желание. На Земле — крик, и все на ней вопиюще. Земля — во власти трагической акустики. От этого и Юшкевич — во власти вопиющего мироощущения. В изумительном по лиризму, самом "тихом" произведении Юшкевича, "Невинные", в стиле умиротворенного и целомудренно-грустного автор рассказывает, как "солнце играло, и блистало над нами, и посы-

лало дожди самых золотистых и светлых лучей, чтобы хоть немного одушевить и принарядить наши низенькие, старые и темные дома и вызвать немного крови на наши с детства старческие и сероватые лица, и тихо улыбалось, как мать, гогочущим гусям и кудахтавшим курам, которыми с криком гоняли наши ребята, которых с криком гоняла добрая смерть к месту вечного успокоения"...

"С криком"... В этом заключалось все мучительное в жизни и творчестве Юшкевича. Это была трагическая акустика его души. Мне думается, что здесь находится ключ не только к пониманию, но и к приятию некоторых формальных сторон в творчестве С. Юшкевича, вызвавших большие нарекания. Во всяком случае, здесь совершенно уничтожается какая-либо возможность подмены объективности в подходе Юшкевича к еврейской жизни равнодушием и безразличием. Вся Земля и все живущее на ней, а в особенности — евреи, кричат, вопиют. А на ней и среди них, за нее и за них, чтобы она и они могли, наконец, перестать кричать и вопиать, кричит и вопиет Семен Юшкевич.

Но разве евреи — не такой же народ, как и все другие, разве вопиющее в нем — это только его мучения? А где же мучители? Где злость, тупость, глупость, бессердечие? Неужели все это — вне еврейства, а в еврействе — только страда-

вставил своего еврея в рамки шумного, бурливого города с его смесью племен, наречий, состояний, с его лихорадкой труда и лихорадкой стяжательства, с его взрывами социальных страстей и взлетами социального идеализма, с его скрежетом зубным, скрежетом железным, ревом людей, ревом поездов и паровозов, грохотом мостовых, кранов, лебедок, воем голодных, воем пьяных, воем душимых и воем душителей.

Семен Юшкевич стал искать своего еврея не у синагоги, но на фабриках, заводах, в портах, трактирах, на блестящих улицах, в шикарном магазинах, моргах, больницах и на кладбищах, искал его в театральных ложах и домах терпимости, в революционном подполье и в залитых солнцем верандах интернациональных кафе, искал его, пробираясь с черного хода на кухни и в людские, а с парадного хода — в кабинеты и салоны почтенных, полупочтенных и совсем не почтенных банкиров, врачей, юристов, маклеров, экспортеров, рантье и т. д.

Благочестиво одностонный и одностонно благочестивый еврей был брошен в водоворот страстного напряжения городской культуры, городской экономики, и здесь его настиг крупный литературный талант Семена Юшкевича, настиг и благоволил за этот разрыв с застойной традицией, за этот прорыв к новым берегам сложной, противоречивой, социально взрывчатой и — вопреки всем му-

Позтому приходится бороться не только за факт, но и за право на него. Борьба на право на... Леона Дрея! Борьба за право на... альфонсов, "котов", прости-тутток, все виды человеческой мерзости! Можно ли выдумать парадокс более мучительный и издевательский? Между тем — если бы это был парадокс выдуман-ный! Ведь он создан был самой жизнью как один из необходимых ответов на "еврейский вопрос". Вы начинаете чувствовать в произведениях С. Юшкевича, посвященных отрицательным моментам распада и расслоения в еврейской жизни, следы своеобразного художественного полемизма. Вы как бы слышите автора, бросающего вызов всем, кто посягает на свободу его творчества: "Да, да, да — у нас есть и такие мерзавцы, и такие пакостники... Но не радуйтесь, вы, хищно оскаленные антисемиты, и не вешайте нос, вы, жмущиеся в сторону печальники еврейского народа. Нашу свободу мы получим не в виде премии за добродетель, а как прочное, приращенное право каждого народа". Этот полемизм изобразительных средств С. Юшкевича, весьма возможно, отразился на произведениях, посвященных еврейству, избыточным сгущением красок. Когда приходится вести борьбу не только за признание факта фактом, но и за признание права на него, то, конечно, полемичная напряженность голоса становится неизбежной.

Семен Юшкевич ненавидел, презирал, бичевал, беспощадно высмеивал уродства морального и социального распада; он бил Дреев, Мельниковых, Штекеров по щекам, но не испытывал ни малейшего чувства стыда за них. Если ему было стыдно, то стыдно было не за еврея, а за человека. Вот он в "Комедии брака" рисует в приемной абортивного мага и чародея целый выводок дам общества, не весьма чтящих древнееврейский завет "плодитесь и размножайтесь", но весьма чтящих заветы Эраста и прелюбьи энергично сотворяющих. Все это выглядит ужасно стыдно, особенно со сцены. Если бы Юшкевичу было стыдно за еврея, он бы этих дамочек скрыл. Но так как Юшкевичу было стыдно за человека, он этих дамочек вывел на сцену в твердой уверенности, что хорошенько разберут, с кого он эти портреты пишет, не только соответствующие Абрамовны, но и соответствующие Ивановны.

Семен Юшкевич вообще был достаточно русским писателем, достаточно впитал в себя всю проблематику русской жизни, чтобы в своем творчестве, посвященном еврейской жизни, испытывать сильное влияние всего того, что тревожило нравственное и социальное сознание русской интеллигенции. Сложный закон двойного национально-культурного бытия русско-еврейской интеллигенции, а С. Юшкевич был одним из лучших ее представителей, приводил к тому, что глубоко еврейские типы и ситуации, очерченные притом своеобразной русской речью, русско-еврейским жаргоном Одессы, становились понятными и близкими массе чисто русских читателей, воодушевляли чисто русских актеров, чисто русских зрителей. При таких условиях никакого специфически национального стыда за изображение С. Юшкевичем муть еврейской жизни у него быть не могло. "И о тебе сказка сказывается — не злорадствуй"! Это говорил Семен Юшкевич множеством своих произведений тому русскому читателю, который возмел бы намерение истолковать его произведения в духе националистической спекуляции.

Приходилось, однако, выдерживать борьбу на гораздо более опасном фронте. Замечательный факт истории русского еврейства — то обстоятельство, что С. Юшкевича обвиняли... антисемитизме. Обвиняли... евреи. Нет более яркого свидетельства искренности еврейской жизни в России, искренности, созданной проклятым "еврейским вопросом", чем эти обвинения Юшкевича в антисемитизме. Это был тоже один из уродливых ответов, которые только и могут быть даны на уродливый вопрос.

Хотя Юшкевич очень болезненно воспринимал чудовищно несправедливое обвинение, объективно он был к этому подготовлен, оно входило в сферу его понимания еврейской жизни. Юшкевич сам не остановился перед тем, чтобы обрисовать ненависть, безразличность по отношению к еврейскому народу тех его сынов, которые на горбах и костях нещадно эксплуатируемой еврейской нищеты построили свое жирное благополучие ("Король").

(Окончание на 15-й стр.)

СЕМЕН ЮШКЕВИЧ И ЕВРЕИ

ния? Неужели еврейский народ — такой глубоко несчастный, глубоко униженный и запуганный, что он уже не смеет иметь своих Гроссманов, Штекеров, Дреев, Дудек и многих других представителей человеческой пакости, ярко обрисованных С. Юшкевичем?

И вот Семен Юшкевич — первый в русской литературе — утверждает органическое, а следовательно — и дифференцированное представление о еврейском народе. В нем есть все те элементы моральной, духовной и социальной жизни и все те комбинации их, какие имеются и у других народов. Творчество Юшкевича направлено на то, чтобы утвердить это в сознании читателей. Галерея типов и образов еврейской жизни, созданная С. Юшкевичем, чрезвычайно богата. Амплитуда моральных, духовных и социальных колебаний в еврейском народе, вычерченная С. Юшкевичем, чрезвычайно велика. Контрасты резки. Линии четки. Еврейский народ потому народ, а не ублюдок этнографический, что в нем представлено все это разнообразие ситуаций во всем их беззастенчивом противоборствовании.

Это не было социально-экономической тезой. Это было художественной правдой. Освободившись от оглядки на друзей и врагов, Семен Юшкевич освободил себя как художника, а освободив себя как художника, мог нащупать подлинную действительность социально-экономического расслоения русского еврейства.

Тут надо было сказать ряд смелых, новых и "дерзких" вещей. От "субботного" еврея надо было перейти к еврею жестоких буден. От еврея местечкового гетто — к еврею крупного торгово-промышленного города. От еврея вообще — к еврею той или иной социальной и классовой группировки. От еврея застойного ортодоксально-религиозного быта, замкнувшегося в духовной тюрьме окаменелых традиций, к еврею, стоящему с открытой грудью и даже непокрытой головой на жестоком, но закаляющем сквозняке разнообразных культурных, социальных и моральных влияний. Опытной, твердой рукой Семен Юшкевич стал выполнять эту не только художественно заманчивую, но и национально, исторически важную задачу. Он

кам, всем жертвам, всем конвульсиям городского котла — все же более прекрасной жизни, более достойной человека, чем прозябание в тихой, плесенью веков покрывшейся заводи мелкоместечковой ограниченности.

Для изучения истории развития русского еврейства за 30 лет произведения Семена Юшкевича — материал огромной ценности. Сложная духовная и социальная эволюция русского еврейства, скажем точнее — русского городского еврейства, документирована С. Юшкевичем рядом произведений, открывающих очень много всякому, кто умеет за образами, настроениями и художественно выраженными ситуациями улавливать мощные рычаги исторического развития. Поставьте рядом две пьесы С. Юшкевича, "Король" и "Мизерере": в первой вы почувствуете последние всплески революции 1905 г., а во второй — эпоху духовного и социального маразма, охватившего массы после жестокого поражения, после утвердившегося господства мстительной реакции. Семен Юшкевич показал наглядно, как эти и другие общероссийские линии исторического развития отражались на "еврейской улице", чем еще раз включил эту улицу в органически неразрывный процесс русской и одновременно еврейской истории.

Под талантливым пером еврейство стало у С. Юшкевича отливать всеми красками современного дифференцированного города. Это духовное и социальное расслоение, эту игру переключивающихся и противоборствующих сил внутри вероисповедного единства нужно утвердить как факт, рассеяв иллюзии национальной одностонности. Нужно показать еврейство в его живой динамике. Это художественно и общественно очень трудно, потому что в России с евреями или враждуют, или дружат — и нет еще равномерно, плавно протекающего, не обьязвающего ни к дружбе, ни к вражде сожителства. В России есть и чувствуется на каждом шагу "еврейский вопрос". А на дурачки, нелепо поставленный вопрос чрезвычайно трудно дать разумный ответ. Утверждать в такой атмосфере сознание моральной, духовной и социальной дифференцированности еврейского народа чрезвычайно трудно. Рискуешь на каждом шагу огорчить друзей и обрадовать врагов.

(Окончание. Начало на 13-й стр.)

Денационализирующее влияние золотого тельца, ослабление национальной связи на почве усиления социальных антагонизмов, стремление забыть свое национальное прошлое, потому что оно было голодным, нищим и забытым, представление о единстве национальной жизни только как о единстве нищеты и рабства, охотно забываемое и презираемое, раз в ушах зазвенели упоительные мелодии золота — эту сторону социально-национального распада Семен Юшкевич рисовал с беспощадной прямотой.

Появились евреи, для которых самый звук их национального названия стал невыносимым напоминанием о злых корчах нищеты, преодоленных злыми корчами стяжательства и хищничества. Воспетый С. Юшкевичем "Дудька", благословляющий войну и революцию шелестом подкапливаемой им валюты, считает верхом своего не только телесного, но и духовного преуспеяния флирт с... христианкой. Что это, в самом деле, за убогость фантазии: все еврейки да еврейки! Надоело! Всякий дурак еврейский может взять еврейку. Но Дудька — не дурак. Дудька идет к миллиону. Миллион идет к Дудьке. Дудька купил картину самого знаменитого русского художника Ивана Репина. Дудька становится ужасно "интеллигентным", и вот ему рисуется идеал интеллигентности: поволочиться за христианкой. С повадками молодого грациозного бегемота он присаживается в кафе к столику, за которым сидит несомненная христианка, пыжится завоевать ее симпатии бранью по адресу евреек и узнает от своей любовной мишени, чистокровной одесской еврейской девицы, что он, Дудька, настоящий антисемит. Но когда Дудька дойдет до миллиона и миллион дойдет до Дудьки, то — нет никакого сомнения: Дудька таки влюбит в себя настоящую христианскую дамочку.

В легких, игривых, не претендующих на глубину художественного анализа сатирических эскизах С. Юшкевич все же уловил эту крайне характерную черту не столько ассимилированного, сколько жадно стремящегося ассимилироваться, но не ассимилирующегося представителя той породы преуспевающих людей еврейской улицы, которые в своей еврейской родне, в стихийно звучащей в их душонках еврейской бытовой напевности видят прямое препятствие к тому, чтобы стать совершенно порядочным "интеллигентным" человеком — человеком, который, усвоив тайны родительного падежа, станет совершенно не похожим на еврея (за исключением, впрочем, права жительства и погрома). Семен Юшкевич хорошо знал этих человек еврейской улицы, тяготившихся своим еврейским происхождением и — вопреки всем натугам ассимилироваться — даже во флирте застревавших безнадежно в черте еврейской оседлости. С. Юшкевич хорошо знал этих ново- и скоробогачей еврейской улицы, которые стремились убежать с этой улицы, чтобы миновать неприятных встреч со всеми этими бедными, больными, бледными и измученными Хайками и Сурками, способными отравить всякое удовольствие жизни и так назойливо родственно лезущими целовать вас, когда их положительно просят не беспокоиться.

Этот и многие другие "секреты" еврейской жизни Семен Юшкевич "выдавал" "им", неевреям. Надо ли удивляться, что нашлись люди, обвинившие Юшкевича в антисемитизме? Тут опять сказалась проклятая запуганность бесправия, мешавшая еврейству быть прямым и смелым не только по отношению ко внешнему миру, но и по отношению к самому себе. Семен Юшкевич стал опасным. Правда, только для малодушных. Но, увы, малодушные — не самая незначительная часть всякого народа, а тем более — народа запуганного, народа бесправного. Здесь опять обнаружилось тяжелое давление на свободу правдивого художественного творчества. Сказать правду о слабом — бесконечно труднее, чем о сильном. Руку писателя дергали демоны вражды и страха перед нею. Чтобы рука не дрогнула, чтобы она служила делу добра, общечеловеческого и национального, делу чести, общечеловеческой и национальной, требовались громадная сила веры, громадная сила воли и громадная сила любви.

Семену Юшкевичу приходилось откликаться на настойчивые зовы этих трех сил. Любовь оказалась сильнее всего. Бывали тяжкие моменты в его жизни и творчестве, когда ослабевала воля и ослабевала вера. Наступали моменты мра-

ка. И тогда любовь приходила тем светом, который и во тьме светит. Мы знаем, что в эмиграции Семен Юшкевич бесконечно тяготился оторванностью от родины. Но эта тоска по родине не была отвлеченно-психологического характера. Нет, С. Юшкевич тосковал тоскою своего творчества по живым истокам, его питавшим. Ему нужна была вот эта еврейская масса не как вероисповедное единство (вероисповедное единство он мог находить и в эмиграции), а как единство страдания, быта, заботы и нужды в том своеобразном преломлении, какое давал крупный городской центр — Одесса. Ему нужна была Молдаванка: все эти улицы, люди, дома, власкаявшие навеки в его душу, обласканные его добрым, улыбочивым взором.

Когда он прочитал одесские очерки Бабеля, то — помимо тех или иных чисто художественных оценок, которые могут быть спорными, — воспринял эти очерки с глубокой радостью: как привет от родной Молдаванки, от родных, любимых людей, таких близких, таких домашне-привычных. Две поездки С. Юшкевича в Америку были связаны не только с поисками выхода из материальной маеты эмиграции, но и с надеждой вновь припасть пересохшими в изгнании губами к живой для Юшкевича воде еврейского быта.

Этой надежде не суждено было сбыться. Американское еврейство представ-

созерцанию, по своему личному быту С. Юшкевич, конечно, был далек от того мира еврейства, который он описывал. Но знаменитый писатель Юшкевич, отправляясь в кабаки, трактиры, всякого рода зланные места, шатаясь в порту, на Молдаванке, на базарах, во всех местах, где толпились, шумели, любили и страдали его евреи, меньше всего был бесстрастно-чуждым наблюдателем, пришедшим на ловлю тем, типов, характеров для своей литературной мастерской, пришедшим инкогнито поглядеть да подсмотреть любопытные колена, выкидываемые жизнью.

Нет, не для избыточных, сверхсметных раздражений бытия, а для приобщения к знаемому, любимому приходил сюда, как знаемый и любимый, Семен Юшкевич. Он любил эту толпу натруженных людей в их скупых, но буйных радостях, всегда просвечивавших слезой обильного, но тихого страдания. Среди острых социальных противоречий города, расколовших и раздробивших примитивное национальное единство мелко-местечкового "Голуса", он твердо, кровно, клятвенно избрал стан погибающих. В произведениях Семена Юшкевича, посвященных еврейской нищете, звучит постоянно глубочайшее чувство горячего заинтересованности чисто семейного, родового типа. Он пишет об этих людях так, точно живет с ними вместе одной большой семьей, и вот в доме его, на

больше, чем литература, или меньше, чем литература? Но я твердо знаю, что без учета этих особенностей "вопиющего" мироощущения С. Юшкевича в анализе формальных сторон его творчества не будет хватать чего-то весьма существенного.

Какой-то перепуг, какое-то тяжелое, болезненное недоумение легло на всю работу С. Юшкевича, посвященную малым сим, и уж до конца жизни своей он не мог от этих ядовитых игл избавиться. "В чем же ваше горе, господин Корзинщик?" — спрашивает в пьесе "Деньги" богач Штекер, собравший в своем доме еврейскую голь, чтобы для утешения своей и раздражения душ других богачей одарить ее медяками и гривенниками. А Корзинщик изумляется: "Как в чем? Спросите, в чем не? Во всем! Во мне и кругом. На улице и в домах"... "Спросите, в чем не?" Это очень смешная фраза. Нельзя не улыбаться, вслушиваясь в ее грамматически нелепый строй. Но в Юшкевиче было что-то от тягостного недоумения этого Корзинщика. Он тоже не знал, "в чем не". И глядел испуганными глазами на жизнь, и повторял про себя изумительный рефрен умирающего мальчика в рассказе "Невинные": "Об этом, мать, надо подумать, подумать".

СЕМЕН ЮШКЕВИЧ И ЕВРЕИ

ляло новый мир, во многом глубоко отличный от мира тех евреев, которых голубил и ласкал в своей душе Семен Юшкевич. В Нью-Йорке он глядел на них любовно, восторгался неожиданными для него сторонами американизированного еврейского гения, но все это уже только со стороны, а не изнутри, как было в России. Известному еврейско-американскому журналисту Коральнику, заметившему этот любовный взгляд Семена Юшкевича, он говорил: "Если бы вы знали, как я их люблю". Это не было порывом сентиментализма, это было порывом тоски о... недоступном...

Из итогов еврейско-американских переживаний С. Юшкевича читатель найдет прелестный очерк "Америчка". Уже в одном том, что С. Юшкевич подслушал и художественно обрамил это бойкое словечко, в своей звуковой и грамматической оригинальности обнаруживающее целый мир новых культурно-национальных и социально-гражданских отношений, сказалось интимное сродство С. Юшкевича с еврейской массой. Он увидел своего русского еврея, преобразенного духом свободы, духом необузданной инициативы, свободной от давления традиций и предрассудков, возрадовался за него, благословил его взором нежным и любовным, но слиться с этой еврейской "Америчкой", войти в нее он не мог. Для этого Семен Юшкевич был слишком русским интеллигентом, человеком традиций русского интеллигентского идеализма и социального радикализма. Эта волшебная "Америчка", вместо того чтобы стать второй родиной Семена Юшкевича, только еще больше надорвала его и без того надорванное сердце. Ибо —

Единый раз вскипает пеной
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет; любовь одна.

Второй родины не было. Первой — тоже не было. Была одна любовь — и не было ее. Не было измены, но не было и любви, потому что любимые были далеко. Между тем Семен Юшкевич не был из тех художников, которые могли любить свой мир издали. По своему миро-

глазах его тот заболел, этот обнищал, третий умер, четвертый наложил на себя руки, другой пошел на преступление, другая вышла на улицу продавать себя... Поэтому и самый стиль Юшкевича становится в этих случаях надорванным, kloкочущим буйной неутешной скорбью, запальчиво отвергающим призывы к благоразумию, спокойствию.

Когда Юшкевич озаглавливает свое произведение "Наши сестры", то в этом названии жуткой повестью из быта еврейской женской прислуги точно отражается бурное волнение чувства кровности. Это не призыв к чьей-то гуманности, чьей-то жалости: смотрите, ведь они наши... Не к третьим обращается Семен Юшкевич, а сам, на людях, никого не стесняясь, рыдает над ужасной долей этих женщин, точно это его сестры — его собственные, кровные — быстро по наклонной плоскости идут к проституции... А он от боли, от отчаяния кричит и проклинает. Русская литература знает много шедевров, посвященных изображению кошмарной доли проститутки. В этих произведениях много высокого чувства, много нравственного идеализма, одухотворенного отношением Христа к Магдалине. В произведениях С. Юшкевича, посвященных еврейской проституции ("Улица"), есть все эти элементы исконного идеализма русской литературной традиции. Но есть нечто и сверх того, только Юшкевичу присущее: такой натиск отчаяния и горя, точно сейчас вот кто-то прибежал к нему в дом и, взбодороженный, крикнул: она пошла в "дом", она заболела, ее избili "коты", ее арестовала полиция, она выпила сулемы! Она — его сестра...

Он реагирует на эти сообщения вестников печали и бездонного горя повестью и рассказами, но написаны эти повести и рассказы так, точно в пароксизме боли человек рассказывает сбежавшимся в дом друзьям и соседям, какое несчастье стряслось с его сестрой...

Я не специалист-критик и не знаю, хорошо ли так, в таком состоянии, писать повести и рассказы. Я знаю, что от человека, рыдающего над еще не остывшим трупом любимого, не добьешься толка, как и почему все это случилось, отчего умерший умер, не было ли тут какой-нибудь медицинской ошибки. Я не знаю, что это — такая "трактовка темы":

Семен Юшкевич не был человеком политической мысли, оформленной политической воли. Не был Юшкевич и тем, что называется "борцом". Юшкевич никогда не ставил себе целью борьбу за еврейское равноправие и ничего не делал специально для разрешения "еврейского вопроса". И все же я думаю, что в трагической повести борьбы еврейского народа за свое освобождение имя Семена Юшкевича должно занять значительное и почетное место. Странно это как-то звучит в применении к такой своеобразной, такой сплетенной из хаотических элементов личности, как Семен Юшкевич, но это все-таки так: Семен Юшкевич утверждал в сознании масс своих читателей идею права. В применении к мучительной проблеме русского еврейства не было недостатка в идеях терпимости, гуманности, братства, любви, милосердия, прощения и т. д. Но расплылось все это, не оставляя твердых осадков реальности. Потому что здесь все это чистое, благородное и прекрасное шло как-то вбок от твердого устойчивого центра, точно крылья птицы, тела не имеющей. Историческая и национальная заслуга Семена Юшкевича состоит в том, что он, бесконечно далекий от политической дидактики, от проповеднических настроений, всей своей трактовкой еврейской жизни, всем своим жизненным и литературным подходом к родному народу, всей своей свободой творчества, в муках ежедневно добываемой, неустанно создавал могущественную моральную опору для идеи и для чувства права.

И создавал ее не только в евреех, но и в русских. В нравственном сознании русского читателя утверждал неустанно еврей-человека, не нуждающегося ни в каких иных оправданиях для своих требований хлеба, света и свободы, кроме этого пребывания своего в человеках. Для русской освободительной традиции, питавшейся шаткими, расплывчатыми принципами поверхностного филосемитизма, Юшкевич поставил ряд серьезных задач усвоения элементов еврейской жизни во всем их разнообразии, а не в их тенденциозно приглаголенном виде. Для этого Юшкевичу надо было завоевать себе место в русской литературе не в качестве эксперта или свидетеля по еврейским делам, а в качестве органического звена этой русской литературы. Для этого Юшкевичу надо было быть русским писателем. Для этого ему нужно было включить себя в тот неповторимо сложный, неповторимо трудный, но и неповторимо прекрасный клубок культурно-национальных взаимоотношений, который зовется русско-еврейской интеллигенцией.

Семен Юшкевич был героическим сыном этой интеллигенции. Это не героизм парадов, юбилеев, торжеств, не героизм маршей победных и маршей похоронных. Это героизм вечной думы, вечного страдания, вечных борений, всего того, над чем надо нам всем подумать, подумать, подумать... Додумать все это всегда было очень трудно.

Теперь — без Семена Юшкевича — это гораздо труднее...

Ст. ИВАНОВИЧ.
1935 г.